

## Стамбульская тарелка

Приехал в деревню Батраково из Москвы генерал покупать домик. А Батраково и есть Батраково: улица в мае месяце еще разъезжена колесами и траками посевных машин, избы стоят, облупленные и удивленные, что они перезимовали и жить собираются — развалюхи.

Да и пустота страшная. Ни телочка, ни ребеночка, ни собачки. Редкие, редкие старухи, по одной, за день-то, мелькнут у колодца. Старухи постепенно пригнуваясь к земле, исчезают в землю, и нищие домики их, за ними пригнуваясь, исчезают.

Видно, надоели мы, русские, Богу, гршили много, вот и махнул Бог рукою на Батраково, пусть, мол, погасает и растворяется в синих просторах. Но приехал генерал. И какой? Лет ему не более шестидесятипяти. Мундир на генерале зеленый. Две Золотые Звезды горят. Орденов боевых — неудобно считать: долго надо делать это, и свежие имеются ордена, а медалей, тех и этих, невыносимо — настоящий красавец и смельчак. Стройный, строгий и чуть нервный: военный же человек, а не охломон-раззява.

Старухи, наперебой тыкаясь за спиной командира, повели его сразу к деду Митрию. Митрий, не только в Батраково, но и в районе — последний старик. Участник гражданской, польской, финской, последней, с Германией, войн, и за каждую — у Митрия награда. Но Митрий решил одеться празднично не к приезду генерала, о котором, конечно, слышал, а к победным дням. Позавчера было 9 мая, а сегодня лишь — одиннадцатое, и Митрий не снимает торжественного пиджака. На пиджаке, честно сказать, ордена и медали значительней генеральских: кровью добыты, Митрий — израненный, в дырках, в шрамах, но крепкий дед. И не спеша сидит, прямой, на завалинке. Хотя изба Митрия набекренилась.

— Здравствуйте, Митрий Митрич! — подготовлено приветствовал гость.

— Здравия желаю, товарищ генерал! — вскочил по-солдатски дед.

— Бодрствуете?

— Никак нет, товарищ генерал, размышляю! — козырнул корявой ладонью Митрий Митрич и даже, старухам показалось, щелкнул галошей о галошу,

— О чем же? — улыбнулся подтянутый генерал.

— Никого нет их, один я, — Митрий указал на обелиск с именами хуторян и, запинаясь, продолжил, — один, а их и тут нету, под обелисками-то, их нету, они та-ам, где они лежат, а? Один! — шумно вздохнул старик.

Генерал смутился и потерял нить разговора. Митрий глянул сурово на генерала, генерал глянул сурово на Митрия и ордена и медали у них на лацканах грустно тенькнули.

— Не заметил, товарищ генерал, воюя и воюя, как деревня-то моя вымерла, да на старухах перед могилой задержалась!.. — Бабки опять засуетились за спиной генерала и скоро, сообщив Митричу согласие принять генерала хуторянином, удалились и совсем канули в бедных и заброшенных государством огородах.

За столом у Митрия Митрича генерал ответил: — Вся Россия лежит где-то там, а, Митрич? Та-ам! — И Митрич заметил, по лицу, мужественному и благородному генерала, скользнула слеза, не слеза, а похожая на слезу, печалинка. Дед заволновался и сделался неуправляемо радушным: огурчики — на стол, яички — на стол, лук — на стол, хлеб и баночку килек — на стол... И — поллитру. Настоящую, доперестроечную, сорокоградусную, пятирублевую, без подлости. Чистейшую, как генеральская набежавшая слеза-печалинка.

— Ну, Митрич, — обвыкся генерал, — встречаете, как сына!..

— А ты мне сын и как же? Девяносто мне, чай уже, брат мой!.. Выпили, побрякали, закусили. Дед и загнул: — А ты, генерал, генерал или ты умный, ученый человек? Герой-то ты не фронтовой, а трудовой, вижу? — Генералу понравилась снайперская цепкость Митрича:

— Главный конструктор летающих аппаратов!..

— У, летающих, значит, и тарелок? — обрадовался Митрич.

— И тарелок! — скучно подтвердил генерал.

Митрич налил в рюмки: — Брежневская, пей! Горбачевскую-то выпьешь, а она — квасом, квасом из тебя... Кулик ведь, и на святой русской водке нагревал народ, торгаш, скажу тебе, отчаянный!

Генерал крутанулся на табурете, но табурет легко выдержал, не сломался. И Митрич про себя отметил: «Генерал замечательный, не толстый, не развращен жратвою и ленью, физзарядку, наверное, сложную по утрам выполняет!..» И продвинулся дальше, уважая гостя: «Ученый? Главный конструктор, сказал? Не иди к нам в хутор, не иди!»

— Почему, Митрич?

— Опилешь руки, обстругаешь или дрелью просверлишь. У нас, товарищ генерал, ни плотника, ни жестянщика, ни каменщика не найдешь, кооперативы их завербовали, а сам ты хребет натрешь и судьбу грамотную погубишь. Жаль тебя, ты — большой у державы, нужный, не иди, не иди, дома тебе не поднять, а ум и талант погубишь на топоре.

Пальцы-то у тебя карандашные, чертежные, пушкинские!..

Генерал, при последних словах деда, кашлянул в рюмку, но осушил ее и, вроде гневаясь, немножечко скраснел:

— Бардак, Митрич?.. Обязали кастрюли паять...

— Полный бардак! — восторженно подтвердил дед и налил рюмки до краев.

Военные встали, жали друг другу руки. Вставали, генерал-то как дед, раненый, участник сражений под Берлином, но теоретический, а не примитивный генерал: ать, два, ать, два, Королев, а, может, и поважнее!.. Тарелки, может, инопланетянские контролирует?..

\* \* \*

Хутор Батраково или деревня Батраково, теперь деревня — хутор, а хутора — вообще не существует, нет села, нет русского села, и с земли русской согнали русских. Умельцы, фашистов ищут, а сами и есть качественные фашисты: огромный народ согнали.

Бабушки да Митрич в Батраково. И — генерал. Купил. Приехал. Строится. А Митрич молчит. Генерал то в телогрейке, то в спецовке, генеральша в краске и в глине. Рубанок поет. Электропила визжит. А Митрич хмуро помалкивает и за генеральское активностью наблюдает. Душа у старика мозжит.

Иногда сидит старик на завалинке. Такое у нас редко случается. Стариков перебили в атаках и штурмах. Сидит, хмурый и дерзкий с внешности, а копни, пожалуйста ему —

сорвет картуз, рубашку подарит, галоши и те примерить тебе счастлив. Ох, русский народ, ты - Митрич, мозжит твоя душа, а ты облапошен и полупогребен жуликами, и водку твою, вздорожив, смешали тебе с минеральной водою: пьешь и тут же лечишься!..

С Митричем я в давней приятельности: из Москвы привожу ему «дымок», сигареты, начиненные порохом и порченым динамитом. Митрич курит, а они взрываются, курит, а они взрываются. Бабки батраковские не пристают с вопросами глупыми, когда Митрич курит «дымок»... Саперский дымок. С военных саперских дислокаций начал Митрич курить взрывоопасные сигареты, и по сей день курить нормальные не хочет: к риску привык дед...

Да и оракечена страна-то наша. Детишки-ребятишки, первоклашки сопливые, на Урале, например, обточат «чух», мордочку свиную, из липы, а в нее, в дырку, аммональной смеси напрессуют, подожгут — несется и сияет в сумерках: от Челябинска до Серпухова, где в 1942 году тяжелейшие бои вела советская армия с гитлеровцами...

Да и газеты без передыху предупреждают: «Не копайте погреба, не вызвав роту минеров, вдруг — вражеский снаряд, вдруг — склад с реактивными фаустпатронами?..»

И Чернобыль заставил нас разоткровенничаться: сотни тысяч безвинных людей перечеркнули раковыми опухолями и прочими онкологиями, и, наконец-то, признались, Европе в жилет понюжились... И генерал из Батраково — не трус, не сундук, напичканный секретами, ни меня, ни Митрича не сторонится. Сидим на завалинке, слушаем конструктора: «Лабораторией и полигоном, после войны, непосредственно руководил Лаврентий Павлович Берия, а мы, инженеры и ученые, у него на подхвате. Вызывает как-то меня...

— Фамилия?

— Капитан Воробьев!

— Нэ капитан, а майор Воробьев ужэ!.. Ракэты пускай харашё и гуляй до двух ночи,

потом со мной едэш!

Гуляю.... В бараке сижу над телефоном. Позвонят, а я и на месте. На практических испытаниях мы, молодые ученые, в общежитии находились... Но почему-то Лаврентий Павлович меня вызвал. Сижу над телефоном. А телефон, как Митрич, древний, прочный, и молчит, молчит, да ни с того, ни с сего, как заорет!.. Хватаю трубку.

— Майор Воробьев у телефона!.. И, понимаете, голос Лаврентия Павловича...

— А ви нэ спыте? Молодэс! «Б-2», ракета, ваша?

— Так точно, Лаврентий Павлович, моя!

— А жина ваша с кем живетъ, с родителями вашими, да?

— Так точно, Лаврентий Павлович, пока негде, с родителями, на Урале!

— Нет, ваша жина уже не на Урале, а в Москве живетъ. Поезжайте к нему, оформляйте квартира, ми вам дал. А ракета «Б-2», ваша?

— Так точно, моя, товарищ маршал Советского Союза!..

— Молодес, умниса!..

Оказывается, мои чертежи на «Б-2», понравились самому Сталину, специальной комиссией выбраны для практического испытания... Явился я в Москву, по адресу, мне в

институте предложенному, нажимаю кнопку — открывает дверь Лена: «Господи, я напугалась! Думаю, Вова погиб... Ночью, в два часа, меня погрузили в скорый поезд и — в Москву из Челябинска.... И — в твой институт, и — ордер, знаешь, Вова, — вздрагивая, шепчет мне Лена, — я до сих пор зуб на зуб, зуб на зуб не попадаю, мёрзну и мёрзну!»

Да, высотное здание, на Котельной набережной — квартира!.. Мне кажется, Берия перепутал меня с кем-то. Но тогда, при Иосифе Виссарионовиче, специалиста не могли перепутать — тюрьма за подобные штучки, прямая Колыма...

На практических испытаниях моя ракета «Б-2» трижды запускалась и трижды поразила цель стопроцентно! А Лаврентий Павлович намеренно меня придерживал в общежитии, в бараке, для пущего переживания тайны. Тайна — я. А ракету запустить и любой сержант сумел бы: фык — и заухала!»..

Секретили, секретили, бац, рассекретили. Границы пьяные наркоманы посещают, стада разъяренных торгашей ревут и государственные столбы выворачивают. Ребят русских жалко: мишень из них приготовили хриstopродавцы для каждой разбойной пушки..

Митрич сокрушался, читая сообщения о дрызгах и размежеваниях, конфликтах и бойнях между соседями, гражданами преданной и поруганной империи. За газетами, с палкой, он ковылял по утрам в поссовет пять вёрст туда и пять вёрст обратно: не лежать же инвалиду?..

— Ай, яй, яй, Василич, растащили нас коршуны, расклевали, ай, яй яй!..

\* \* \*

Потный и взъерошенный, к нам присоединился после обеда генерал малость охладиться

и новостями обменяться. Жилистый, морщинистый, тяглый, нервничал: — На закрытом заводе мы вытачивали детали, «луки» и «стрелы», в космическую точку угождали, а сегодня обязали конверсию в цеха впустить. Горбачевская альтернатива...

— А кто она по национальности, альтернатива-то, француженка или японка?.. — кряхтел Митрич.

— Пятилитровая кастрюля, обыкновенная кастрюля. Лесные бродяги, шоу-туристы, и тюремные повара ценят ее, пятилитровая! А у свободных людей не пользуется авторитетом...

Генерал хватал щепку и на черном утоптанном пяточке чертил кастрюлю. Чертил кастрюлю, но получилась лысая огурцовая голова, смахивающая на пятилитровую кастрюлю. — Завод, классный завод пустили в распыл! — возмущался конструктор, — какие мастера, какие талантливые инженеры вынуждены бежать с производства в разные подсобные хозяйства?

Конструктор более решительно проводил щепкой по нарисованной голове-кастрюле, дополняя ее точками, дужками и короткими штришками... А Митрич доверчиво интересовался:

— Пропала Россия?

— Пропала!.. Но не пропадет... — Генерал нервничал и прощался...

А Митрич старательно накрывал голову-кастрюлю газетой:

— Зачем?..



— Завтра хочу на нее поглядеть, завтра поглядеть хочу!.. На завтра Митрич снимал газету и внимательно рассматривал изображение: — инопланетянин! — сообщал он старухам.

Батраково — на холме. А холм — над великой поймой. Древнее русло Москвы-реки когда-то катало по синему простору шумные волны, хлеставшие от леса до леса, от горизонта до горизонта: пойма равнинно-круглая, скифская, втягивающая в себя, в даль свою века, племена и события...

Даже сейчас, глянешь и набежит на тебя русский ветер, и прозвенит над тобою славянское ржаное солнце августом и журавлиным взрыдом. Набежит ветер — травы пригнутся, а березы качнутся, очнутся и примутся трепетать, словно ждут кого-то и дожидаться не могут. А ветер бежит и август пылает от края до края, где неуловимо клубится и пропадает плачущая нить счастья, миг ускользающей надежды.

Родная моя, Россия моя знаменитая, на любой кривой улочке хуторов полураздавленных твоих — обелиски, а на них проржавелые списки погибших, убитых в огненной стороне сражений.... Где еще есть такая Родина, такая осиротелая Россия? Списки — длиннее улицы, длиннее скосбоченных рядков истлевших изб, длиннее имен взятых вместе перечисленных старух, доканывающих возле усыхающих колодцев революцию и долю...

Я люблю тебя, моя Родина, Россия моя, спасенная и обласканная небесной синевой и августом небесным! Когда замирает сердце при виде твоего разорения и нищеты, я припадаю к бугорочку, прирученному обелиску на хуторе, низко, низко — и оттаиваю, камень погибели отступает от моей души, и сердце вновь начинает биться и тужить.

Рожденный и выросший на Урале, почему же я в любом русском хуторе — как в своем, уничтоженном парадными палачами, брошенном, как все русские хутора, в эту великую пойму скорби, под которой, глубоко, глубоко течет легенда русской трагедии и русской славы?..

Где наши братья? Где отцы наши? Где наши деды? Митрий — прирученный седой обелиск, уплывающий в русскую даль. О, какими же мы обязаны быть? Разве крик русского горя не в нас? Ну, где наши генералы? Воины — лежат и цветы над ними

шелестят виновато. Но генералы где? Неужели некого поднимать и некому теперь поднять?.. Россия моя, Россия, я лишь — поздний репей твой, колючий и выжженный бурей.

Митрич всех знал и никого не позабыл, кто не вернулся в Батраково с войны. Сидит на завалинке — они около него: в списках на бугорочке, на обелиске. Жаль — под бугорочком нет их. Жаль и жену Дмитрича — рано оставила его: умерла в девятый год Победы и в день Победы.

Митрич хранил от нее на чердаке в подвешенных негодных валенках извещения о смерти сыновей — Саши и Пети. Летчики. Экипажем вели бои с противником. И — погибли. На каждого — индивидуальная похоронка, с благодарностью родителям... Марья полезла чердак чистить после зимы, сунулась, а в валенках... И с чердака не слезла.

Митрич никому не говорит о сыновьях и о жене, никому. Но глядя на обелисковый бугорочек, иногда чуть посожалеет: ах, лежали бы дети под ним, под бугорочком, — и он, отец, сидит рядом... Но Митрич ломает непрошеную мысль, отшвыривает и она долго, месяцами, боится появляться перед стариком, исчезает. А, может, их могилки по необъятному шару ищет?..

Подруга Марьи, соседка Груня, тоже сирота, как Митрич, пристирывает и приштопывает за ним. Странная. Вздыхает и вздыхает. Не ссорится, не обижается ни на кого, а вздыхает и вздыхает. И не вытерпел Митрич:

— Когда ты, Груня, тоской напитаешься?..

А та протянула Митричу ладонь и, поздними сумерками, подвела Митрича к колодцу, открыла:

— Наклонись вглубь!.. — Митрич наклонился...

— Глубже наклонись! — Митрич глубже наклонился...

А Груня опустила на колени и протяжно, протяжно в сруб:

— Ой-ой-й!.. Ой-ой-й! — И в срубке, в дубовом-то, как в рояле или пианино черном, или храме пустом: «О-о-ой! О-о-ой!» — Поднялся Митрич. Ночь. А звезды, яркие, яркие, теплые, теплые, мигают, мигают:

— О-о-о-й! О-о-о-й!.. — И тополя, родные, ихние тополя хуторские: — О-о, о-о-й!..

Жутко сделалось Митричу, а Груня:

— Это земля о детях наших стонет, вдовая она, Митрич!.. — И пошли они, вдвоем пошли, от колодца. — Я, Митрич, образ ее видела, на дне, на дне, Митрич, мамино лицо, этакое, а за мамой — дети мои, солдаты, и муж мой Пётр, солдат...

Митрич ни конверсию, ни перестройку на порог не пускает: занял оборону и держится. Ружьё на стенке под боком висит. В сарайчике — коза, три курицы и петух. Молочка и старушкам на пасху достается, куры не симулируют, несутся, а петух вместо гимна кукарекает на заре.

\* \* \*

Для кого играть гимн-то! Мертвая зона... Осенние ночи — каменные, тьма тяжелейшая.

Ни фонарика не вспыхнет — нефть вздорожала. Митрич кашляет и прошлое вспоминает, а в прошлом — кровь да разорение. Вспоминает, глядь, а напротив сияющая тарелка опускается, похожая на калужскую сковороду. И выходят из неё длинный и короткий.

— Господин Митрич, занят ли генерал гражданскими заботами, кастрюлями? Не сооружает ли местные укрепления?.. — Спрашивает длинный, а короткий в блокнот записывает. Митрич не растерялся и задает вопрос:

— А вы откуда, уважаемые?

— Из Европейского сообщества, стамбульские турки! — ответил длинный.

Митрич обиделся и шарахнул из ружья в форточку! Тарелка ж-ж-укнула, как черная муха, и скрылась в окрестностях Батракова, а генерал, в трусах и майке, колотит в дверь:

— Митрич, открой! — Открыл, рассказал, генерал поддернул трусы и удалился, пожав плечами. У Груни электричество, после выстрела, зажглось, аварийное, значит... Молиться принялась баба.

До Митрича дотягивались и застревали в нем странные слухи. Стамбульская инспекция донимает генерала: лучи на него направляет, фиксирует его движения — к сортиру и от сортира, а инструменты, долото, молоток, швабру, фотографирует и проявляет сразу. Доказательства....

Недавно, якобы, реяла, реяла тарелка, загнала генерала в крапиву, а сама в нее погружаться не согласилась. Генерал замаскировался, и помочился, а тарелка в Стамбул вернулась, грамотная и жестокая, курва. Генштабовским генералам, «афганцам», слышал Митрич, стамбульская жаровня и помочиться в конторе не дает, на бульвар Черняховского с Арбата бегают, стайеры, и омонцам на гуманоидов жалятся, подсакивая...

Митрий жалеет сыновей и Сталина: приказал бы им, взвились бы, родимые соколики, и уничтожили бы вражеский объект и генерала бы из крапивы освободили... Но — один Митрич. И обелиск — один. А военный конструктор, человек, в крапиве прячется...  
Времена! И старый сапер налегает на газетные новости. А Груня молится.

Генерала, Владимира Владимировича Воробьева, и генеральшу его, Елену Николаевну, я почти не встречал в приличной одежде: его — в мундире, ее — в платье. Оба они, и генерал и генеральша, ошкуривали бревна, пилили, возили на тачке песок и кирпичи. Грязные, в куртке и в штанах, заляпанных известкой, олифой и, черт разберет, какой чудовищной жижей. А разве черт разберет, если и генерал и генеральша — чертей чумазее?

Но домик у них вынырнул из деревенской нищеты и на цыпочках вверх потянулся. Окошки окосячили. Рамы вставили. Крышу — серого шифера настелили. Нарезали карниз. Дворик окинули штакетником.

Цех кастрюльный на французском оборудовании, купленный Генштабом за валюту, смонтировали возле уборной, где генерал-конструктор в крапиве от турок прятался... Но цех не включается и кастрюли не паяет — калибр кастрюль завышен и температура в Батраково уже низковата. А на улице — еще август: так они, генерал и генеральша, взялись за работу! Честнейшие трудяги...

Исчезал генерал из Батраково часто. Особенно — перед тем, как начинали газеты и радио трубить о новом провале или успехе в космосе, а телевидение возбужденно хрипеть и Гоголя цитировать, кудахта:

«Куда ты, несешься,

О, Русь, о, Русь!»

А получалось, коли вникнуть ухом, у диктора, шустрого и ушастого:

«Куда ты несешься,

О, гусь,

О, гусь!»...

Исчезал генерал внезапно. Генеральша никому в эти дни не показывалась, малярила и копалась на грядках, вжимаясь в тень яблонь, прячась за калиткой... И Митрий Митрич, саперный дедок, не заходил к ним и ко мне не заходил. Митрий Митрич желал генералу успеха, а державе надежного оружия...

Все молчали, в деревне и в Москве. Да с чего, с каких причин болтать-то? Все молчали. А за нас, за всех, раздавал интервью Михаил Сергеевич и диктор, который «О, гусь, о, гусь!»...

Беда подстерегла генерала и генеральшу крупная, жестокая и непоправимая. Да, малая

беда, поправимая беда, не подстерегает тебя, а натыкаешься ты на нее. Наткнулся, обиделся, разобрался, выздоровел и за дело. Но крупная, долгая беда, высмотрит, определит, наметит и ударит — и разрушит, а не разрушит — пошатнет, сам доразрушишься, такая беда, крупная если...

Митрич сидел на завалинке и грелся на осеннем солнышке. Митрич старый и хутор старый. Митрич старый да и солнышко тоже старое. Ветерок и тот, шелестящий в палисаднике Митрича, старый. Ничего молодого, когда ты старый, в природе нет. Только — дети, погибшие, молодые, а новых детей кому рожать? Старухи в Батраково да он, старый Митрич, сапер, солдат и пахарь. И август старый.

\* \* \*

Сидел Митрич, а «дымок» спокойно взрывался у него в губах, сигарета проклятая... И услышал Митрич, как с воем и лютыми искрами из окна генеральской избы выбросилась электропила. Пронзительнее дикого зверя завизжала, вспрыгнула на забор и стальным раскаленным диском принялась бешено резать и кромсать все, что ей на пути попадалось. Стружки, брызги сверкали под ножом, стальным и раскаленным, а она визжала и набирала разбойные обороты...

Вот она перевернулась, шарахнулась в сторону от забора и с хрипом и рёвом заплясала в канаве... Митрич сообразил: уронили пилу, включенный диск уронили... Боком, боком, за канавой, за деревьями стуча палкой и опираясь на нее, Митрич, в галошах, приковылял ко мне: — Василич, Василич, беда у генерала, беда у Владимира Владимировича!..

Перемахнув улицу, я выдернул из сети провод разгневанного зверя и, оглоушенный тишиной, по лестнице взбежал на чердак. Владимир Владимирович, бледный и окровавленный, пытался подняться на стеллаже из теса, но ослепший от крови и потерявший много ее, шевелился и ползал, натыкаясь на ящики, стулья и кучу трухи. Переносье генерала, рассеченное диском, зияло жутко и непоправимо. — Вставай! — скомандовал я.

Генерал ухватился за мою шею и я вытащил его к своей машине, едва, едва зажав рану; туго замотал ее содранной с генерала грязной рубашкой. А Елена Николаевна, сшибленная вырвавшимся на свободу звенящим диском, свалилась с чердака на пол, в проем, пока не закрытый, и успела увернуться от взреявшего над нею раскаленного тигра, выпрыгнувшего в окно...

Генерал назвал мне номер телефона КБ и начал терять сознание.

— Я мерзну, я мерзну, Василич! — укорял он... А Елена Николаевна дула ему на лоб и дрожала. Она удачно перенесла аварию. Генерал, я думаю, теряя равновесие на перекладине, сумел-таки отпихнуть диск локтем, потому и пальцы на правой ладони срезаны, отсечены, и левая ступня его туго, туго мною перемотана, как и лоб ученого...

Моя «Нива» аккуратно на рытвинах и канавах покачивалась, дороги-то под Москвою — гроб. А время тянулось. На шоссе я подрулил к будке ГАИ, сунул номер телефона милиционеру, показал на пострадавших и добавил газу. Через час и сорок минут, я уложил на носилки генерала, и мы с генеральшей тронулись в хирургическую.

Меня поразила беспечность больницы. Ни врача, ни санитаря: воскресный день — студенты занимаются и лечат. Генерал подремывал и подремывал, но сознание терял и терял, упрекая: — Я сильно мерзну, Василич, накрой меня! — Натренированной памятью я набрал в больнице тот, отданный милиционеру номер, и в сию же секунду меня ободрил четкий руководительский голос:

— За генералом послан вертолет «А-6», «А-6». В больницу послан спец вертолет с нейрохирургом, спецвертолет «А-7». За супругой генерала послан вертолет «А-8». Большая группа врачей выехала автобусом вам навстречу, ловите!

Но генерал терял и терял сознание, медленно синея и опухая, держался по-гвардейски, хотя держаться уже было невозможно. Елена Николаевна не плакала и силилась продемонстрировать мне волю и терпение. Лишь тревожные глаза ее наполнялись горьким страданием. Сбереженная богом при падении, женщина забыла о себе, помогая



мужу.

Когда загрохотали над районной больницей вертолеты, снижаясь и гудя пропеллерами, а большая группа врачей вывалилась из бронированного пузатого автобуса у ворот, я оставил Елену Николаевну возле генерала и покинул хирургическое отделение. Инопланетяне явились — чать спасут?..

Быстро пожелтели поля. С берез осыпались и умчались куда-то листья. Зима легла широко — во все концы. За холмами столпились морозы. Выбрали день — завладели миром. И я убежал от скуки в Москву, а Митрич потерял интерес к событиям — разочаровался.

На следующий год, весной, в мае, мы с генералом и старушками хоронили Митрича. И офуфаенный генерал, задержав меня у могилки, смущенно произнес: — Спасибо, Василич, и от Елены тебе спасибо! Теперь и я с палочкой, за Митрича сижу на завалинке, лишний, списанный... А тогда, тогда в понедельник, лишь я очнулся, позвонил Горбачев, да, Горбачев: «Что случилось, генерал?» «Конверсия, Михаил Сергеевич, конверсия!..» И ты, понимаешь, Василич, трубку швырнул, во как!

— А стамбульская тарелка? — поинтересовался я загадочно.

— Давно опережает нас и шпионит, шпионит!.. — вздохнул конструктор.

1992